

О лауреате пяти государственных премий, писателе Викторе Астафьеве в издательстве «Молодая гвардия», в знаменитой серии ЖЗЛ, готовится к печати книга сибиряка Олега Нехаева «Астафьев. Праведник из Овсянки». Ее автор стал победителем конкурса Ассоциации союзов писателей и издателей России на лучшую биографическую рукопись. Ниже — одна из глав этой книги

УРАЛ, ГОРОД ЧУСОВОЙ, ОКТЯБРЬ 1956 ГОДА

Это потом станет ясно, что решение Виктора Астафьева было опрометчивым. Но он принимал его, как всегда, сам. Ни с кем не советуясь. Даже с женой. Взял и уволился из местной газеты, куда был принят за написанный им рассказ о своем фронтовом друге с Алтая Матвее Савинцеве. Он и в тот раз рисковал. Был ведь фактически малограмотным. Не знал даже, где ставить точку в предложении. Но сумел быстро овладеть журналистским мастерством.

Теперь же взялся писать большой роман. На руках у них — двое совсем маленьких детей. Жена Маша уже не раз горестно вздыхала, потому что у мужа ничего не получалось. Не готов он был еще стать литературным тяжеловесом. В расстроенных чувствах начинающий писатель пишет письмо редактору Молотовского областного издательства Владимиру Черненко:

«Дорогой Володя!

Я так и не собрался поехать в Молотов. Главная причина сам знаешь какая. Время у неработающего писателя есть всегда, а вот деньги — редкие гости. А тут Маня придумала болеть каждый месяц, и без “кормилицы” туго совсем. Я, собственно, сегодня и писать-то начал от отчаянья, чтобы спросить у тебя, не знаешь ли ты кого-нибудь из наших сознательных писателей, кто мог мне дать тыщонку займы месяца на два-три? Может быть, у Бориса Ширшова или у Саши Макарова есть? Пришла пора подписываться на газеты и журналы, за ребятишек платить — и хоть реви. Из-за проклятых денег работа идет туго. Не сделал еще и половины книги. Все думаешь, чего завтра жрать? Чтоб она пропала, эта наша доля!

<...> Из “Смены” пока ничего насчет очерков не общили. Московский редактор пока тоже помалкивает насчет сборника. Тишь да гладь...

Приезжай, старина. Жму лапу.

Виктор».

Астафьевские литературоведы почти всегда проносятся через его чусовской отрезок жизни, как скорый поезд через захолустные полустанки. Лишь изредка

бросают мимолетный взгляд в окошко и отмечают, что «в этот период он написал свои первые рассказы». Только нельзя его проскакивать. Период этот ключевой для всей его последующей жизни. В Чусовом Астафьев начал делать себя сам. До этого его делали обстоятельства.

В семь лет стал сиротой. Мама утонула в Енисее, везя передачу к отцу, которого посадили в тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности. В первый класс Витя пошел в школу, которая располагалась в доме его деда-мельника, раскулаченного и сосланного на север. Дальнейшее его детство проходило в заполярной Игарке, где он бродяжничал, воровал еду и иногда учился в детдоме. Трижды оставаясь на второй год.

Потом сам заработал билет на пароход. Приплыл в Красноярск. Выучился на составителя поездов. Работал прилежно, на износ. Имея бронь, ушел добровольцем на войну. Был дважды контужен и трижды ранен. Награжден за два подвига медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Возвращаться с войны в родную Сибирь ему было не к кому. Так он и оказался на Урале. Отсюда была родом его Маша, с которой он познакомился на войне, и там же они и поженились, перед самой демобилизацией.

В Чусовом он сел за парту. Учиться приходилось вечерами. В школе рабочей молодежи смотрелся самым взрослым неучем. К двадцати шести годам у него не было даже начального семилетнего образования. Правда, в то время, чтобы получить аттестат за десятилетку, учиться шли совсем немногие. Большинство в стране не имело «полного среднего». И дело было не только в прошедшей войне. По указанию Сталина за обучение в школе нужно было платить немалые деньги. Это к вопросу: нужны ли были тогдашнему государству образованные люди?

Так что получение знаний было личной потребностью Астафьева. Два десятилетия спустя он скажет: «Жалею, что не знаю иностранных языков, не получил настоящего образования... Ощущение своей



неполноценности, безграмотности — оно остается... Мне приходится всю жизнь добирать самообразованием. Я до сих пор учусь на писателя».

В то время их семейный бюджет, даже когда он работал на мясокомбинате мойщиком туш, находился в такой скудности, что не один раз они делали выбор между хождением в кино и покупкой хлеба. Когда жили одни, всегда шли смотреть новый фильм. Их соединяла, кроме любви, еще и обоюдная тяга к культуре. На войне они как раз и сблизились через страсть к чтению книг. Потом, уже живя в городах, где были театры, Астафьевы ходили почти на все спектакли.

В Чусовом театров не было. И Виктор Астафьев стал завсегдатаем библиотеки. В выходные просиживал в ней часами. Читальня стала для него литературным университетом. Тогда он впервые открыл для себя многих великих писателей, по которым будет все время сверять свое творчество.

Исходя из известной общечеловеческой мудрости у него не все шло по заведенному порядку. Вперед всего «родил сына». Потом построил дом. И затем начал везде, где жил, сажать деревья. Даже однажды попросил прислать на Урал саженцы кедра из енисейской тайги. Прислали много. С удовольствием раздавал желающим. И стал для соседей кедровым лесоводом.

В домике, который Астафьев построил в 1950 году на улице Партизанской в Чусовом, сейчас музей его имени. Воспоминание об этой «избушке» никогда не перестанет быть для него нежным и трепетным: «...запах свежих стружек, мякоть опилок под голыми ногами, гладь оконных подушек, переплеты рам и пустота набровников, в которых, когда их забьют мохом, непременно поселятся воробы, то есть обыкновенный дом для меня будет вечным и неизменным чудом!»

1956 год. В этот период Виктор Астафьев работал над своим первым романом «Тают снега».

Фото предоставлены автором

«...Уцелел на войне, жили жадно, радуясь. Прежде всего самой возможности, счастьем жить, которого так многие лишились. “Свой дом” я строил после работы и колотил молотком чаще по “плотнику”, то есть по руке, чем по гвоздю, после чего следовали громкие высказывания, от которых даже вороны отлетали вверх, и теща моя, человек тихий, добрый, вырастившая девятерых детей и всего, как говорится, изведавшая, когда ее спросили, что-де за мужичонка на пустыре строится, больно, мол, уж “боевые” у него выражения... постеснялась признаться, что это ее милый зять, и тихо удалилась.

Ну а потом халупа моя сделалась жильем, похожая обликом на меня — это уж непременно! — лишь современные “коробки” похожи друг на дружку... Помню по сей час ясно, отратно, как в жилье затопили первый раз русскую печку, и оно стало наполняться живительным теплом, уютно сразу сделалось, хорошо, покойно...

Все это я к чему говорю-то? А к тому, что строить, созидать есть большое счастье».

Что-то «нежурналистское» Астафьев писать мог только урывками. Ночами. Спал по четыре-пять часов. Жил тогда, по его словам, «на пределе». И чуть не бросил писать. Настрочил несколько рассказов. А они оказались никому не интересны. Ни близким, ни издательствам. И сам понял, что их содержание — примитивная газетчина, которую будет позже называть «ржавчиной, съедающей все живое». И он начал возвращаться к себе. К прежнему. Чтобы походить обликом только на себя, как построенная им грубоватая,

но своя «халупа». Чтобы душе приятно было жить в созданном им тексте.

И он стал освобождаться от ненужного, наносного. Толком еще не понимая, что отторгать, а что сохранять из приобретенного: «...надо было преодолевать в себе неуча, надо было не по капельке, а по бисеринке выдавливать из себя привычку к крови, к смерти, приобретенную на войне, следовало из одноклеточного существа превратиться в нормального человека, а потом уже откликаться на творческий позыв, существовавший с детства».

Он говорил, что «нелегкие журналистские хлеба — очень опасный путь. Многие по нему пошедшие потеряли себя, спились, в хлам измельчали. Не знаю — Бог, «судьба или подкова», по Михаилу Дудину, охранили меня от той дороги и вывели на свою... Какой инстинкт самосохранения дал ориентир? На уровне ирреального, инстинкт и ориентир, видимо, в словах поэта-фронтовика: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой»».

Душа уже тогда была для Астафьева на месте божницы. И относился он к ней бережно и трепетно. А с отношением к Богу он еще окончательно не определился. То зажжет в себе лампадку, то задует ее негодующе. А без огонечка жить тяжело. В себе не разберешься. Да и чужая душа всегда будет потемками для тех, кто попытается заглянуть в нее со своей темнью.

По подобному поводу есть и простенький анекдот. О том, как человек искал ночью утерянные ключи под ярким фонарем. Подошедший прохожий, пытаясь ему помочь, поинтересовался: в каком месте он их потерял? И тот указал в сторону непроглядной темени. Прохожий удивился: «А почему ищешь здесь?» В ответ услышал: «Так там же ничего не видно».

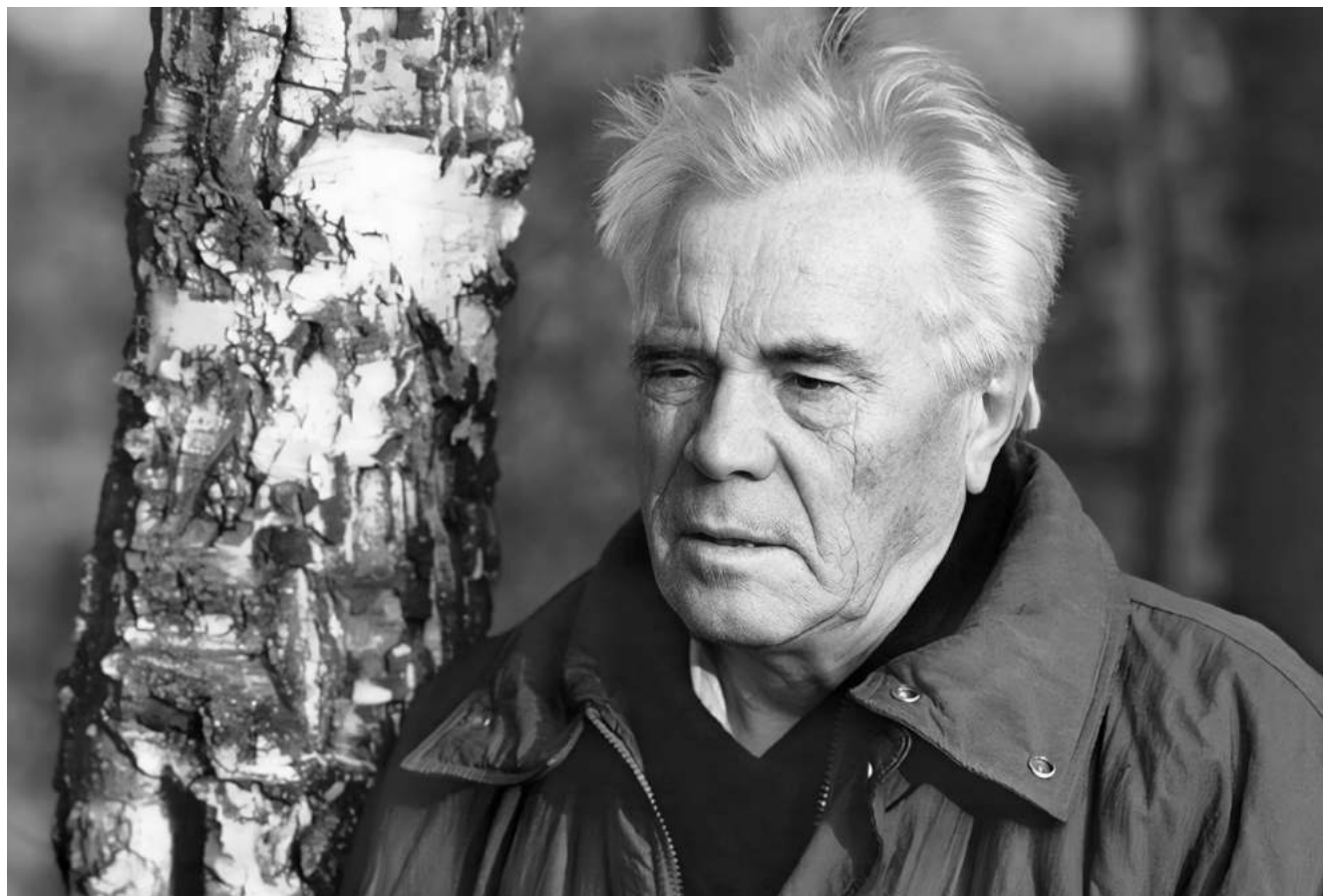
Многие писатели пишут по такому же принципу. Их книга — тусклый фонарик для собственного тщеславия и самолюбования. Читатель так и остается в потемках написанного. К нему редко кто приходит со своим огонечком. А уж с ярким светильником почти никто уже не заглядывает. Зачастую из-за того, что приходящему просто-напросто нечем светить. Ну и кто такого пустит к самому сокровенному и потаенному, что есть у человека?

Валентин Курбатов всегда уважительно говорил, что серьезным писательством занялся «из-за Виктора Петровича Астафьева». Причиной этого стало восторженное озарение, после прочтения одного рассказа.

Все произошло благодаря случайной встрече в Вологде в 1974 году. Туда он поехал за компанию с литератором Юрием Курановым на какое-то мероприятие. Курбатов не скрывал, что до этого и с самим писателем не был знаком, и «книг Астафьева не читал». И объяснял почему: «Чего было читать, если он у нас в девятой школе выступал после выхода бедной маленькой книжки “До будущей весны”, вышедшей в Молотовском издательстве в 1953 году. Я сбежать с его выступления не сбежал, слишком плотно перекрыли выход учителя, но и слышать ничего не слышал: знаем мы этих чувовских “писателей”. Что он может написать, если каждый день ходит, как все, за хлебом?»

И вот Виктор Петрович здороваётся на вокзале в Вологде. Здороваётся с Курановым, а глядит почему-то на меня... “А не тебя ли я видел двадцать пять

Фотокорреспондент ТАСС Виталий Иванов сделал этот, теперь очень известный снимок, когда писатель сильно заболел. Отказываться от съемки он не стал: «Надо, так надо!»



лет назад в Чусовом ‘у третьего’ (в Чусовом никто не говорил “у третьего магазина”, а просто — “у третьего”), собирающим окурки у железной дороги?”

Это било меня влет. Как? Узнать в 35-летнем мужчине с бородой того мальчишку?

Мне не терпелось в гостиницу! Бог с ней, с Вологдой, с архитектурой и древностями (потом посмотрю) — надо было немедленно прочесть хоть что-нибудь у этого памятливого человека. Куранов дал мне рассказ “Ясным ли днем”. Была ночь. Куранов спал, а во мне все плакало и искало выхода. Надо было с кем-то разделить восторг и горе, счастье и печаль, которые при настоящем искусстве ходят рядом. Я не мог дожидаться утра, чтобы лететь к Виктору Петровичу. Но что я мог сказать, какие слова найти, когда уже шумели гости, когда все хлопотало и всем было не до меня. Но, видно, умный Виктор Петрович этот мой задавленный порыв увидел, как увидел того мальчика “у третьего”. И через месяц я уже ехал к нему в вологодскую деревню Сиблу, чтобы закрепить наше четвертьвековое мгновенное знакомство».

Невозможно объяснить, где и когда в рассказе «Ясным ли днем» зарождается тот удивительный теплый свет, который начинает светить в сторонней душе читающего.

Вроде и герои в рассказе неказистые. И слова совсем простенькие. И сюжет невзрачный. И все как-то в нем несуразно складывается, потом распадается, а в итоге все соединяется и отзывается трепетом любви и доброты. И это чувство незаметно перебирается из текста и оживает уже внутри тебя. И продолжает жить дальше. Кротко и нежно. Как будто кто-то в потемках посветил тебе свечечкой.

И еще в этом рассказе слышится тихий разговор. Кто-то невидимый спросит: «Зачем талант-то Богом дается?» В ответ прозвучит на старорусский манер: «На утешенье страждущих...» И последует этому согласное подтверждение, что «если уж никаких способностей нету, один талан — делать другим людям добро — все одно есть. Да вот пользуются этим таланом не все...»

В рассказе совсем уж негероистый главный персонаж Сергей Митрофанович своей тихой праведной простотой живет, и походя, сам не зная того, утишает мир, рассказывает и поет так, что, слушая его, «человек переставал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то».

Вот только бередят его душу периодические медкомиссии. И тем самым возвращают его в проклятую войну. Заставляют приезжать в город, чтобы убедиться: по-прежнему ли у него одна нога? И только после этого выдают документ, подтверждающий его инвалидность и право на небольшую пенсию. За эти деньги он покупает и везет диковинный подарок домой. Два персика. Вручает их жене Пане. А та, не пробовавшая их сроду, удивляется:

«— Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их едят ли?»

— Сама-то ты мыша! Пермяк — солены уши!»

А дальше в нем будто прокрутился весь сегодняшний день, все встречи и разговоры. И он поспешно обратился к себе самому, к очень важному и проясненному:

«— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их угадалась боль. — Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?»

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг:

— Что ты?! Что ты?! Бог с тобой!..

— Так вот проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а-а!

Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным.

Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала...»

Валентин Курбатов, окончивший ВГИК и почти уже ставший киноведом, после ночного прочтения «Ясным ли днем», навсегда посвятит себя литературе. И с того времени он будет дорожить общением с его автором и радоваться каждой с ним встрече.

Астафьев станет частенько подтрунивать над Курбатовым, напоминая всем, что критик этот, «человек блистательно образованный, глубоко порядочный и умный», «долгое время знать меня не хотел и признавать меня литератором не желал на Урале». Но когда говорил серьезно, то среди известных чусовских выходцев Астафьев всегда называл его вперед всех. С гордостью подчеркивая, что «город Чусовой дал миру десяток членов Союза писателей и, сообразуясь с этим феноменальным явлением, я пришел к твердому убеждению, что советский писатель охотней и лучше всего заводится в дыму, саже и копоти».

Вот таким «чумазым» он и принялся писать свой первый роман, сидя за грубо сколоченным столом, в построенной своими руками небольшой и неказистой избушке. И он его написал, как скажет потом один из критиков, еще не будучи настоящим писателем. Но он им станет.

Примечательно, что героем его первого опубликованного рассказа окажется выходец с Алтая. И последнюю свою самую главную книгу жизни, роман «Прокляты и убиты», он приезжал писать в алтайское Никольское.

Ничего не складывалось у него тогда в его Овсянке под Красноярском. Выручил кинорежиссер Владимир Кузнецов. Он его привез с Енисея в свои родные места на речку Поперечку. Здесь же и были написаны многие главы знаменитого романа. Здесь же были сняты главные кадры фильма «Жизнь на миру». А чтобы получились проникновенные диалоги, специально был приглашен погостить на Алтай из Пскова самый «дорогой человек» — Валентин Курбатов. Лучший для него собеседник. И было им здесь хорошо. И в Никольском теперь на доме, где жил и работал писатель Виктор Астафьев, появилась мемориальная табличка. Люди на Алтае памятливые. ■

Виктор Астафьев. Из книги «Родной голос»:
«Я лично отношусь к своей работе, как мой дед к пиленю дров, заготовке сена, строительству дома. И это избавляет от излишнего кокетства. Еще у меня есть испытанный метод собственного укрощения: гляну на полки личной библиотеки — там стоят книги Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова, Тургенева — этого вполне достаточно, чтобы вести себя скромнее, спокойнее».